ТРОН

Расчет.

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Ярослав Комиссаров

18+

Ярослав Комиссаров

Трон. Расчет.

«Автор»
2026

Комиссаров Я. В.

Трон. Расчет. / Я. В. Комиссаров — «Автор», 2026

Трон — это не награда. Это ярмо.В ночь Летнего Праздника император Герман — тридцать лет державший империю расчётом — умирает, не дожив до рассвета. К утру империя становится счётной книгой с вырванной страницей: старший сын сломлен маком и обидой, названный наследник получает корону без коронации и пустую казну, а великие дома уже делят ещё не своё.Север точит мечи и помнит старые обиды. Банк считает чужие жизни. Лев взвешивает зерно и не прощает долгов. Во дворце две женщины и мальчик, которого не считают игроком, начинают партию, где неверный взгляд стоит дороже армии.Под столицей уже дышит то, что старше Церкви. Крысы уходят с полей. Нищие тянут одну ноту. Искатели правды возвращаются безумными — или не возвращаются.В Велигоре милосердия нет. Правило одно: у каждого долга есть цена. Счёт предъявят всем — включая того, кто на троне.«Трон: Расчёт» — гримдарк в духе Аберкромби и Мартина: как гниёт власть и что остаётся от человека на троне.

© Комиссаров Я. В., 2026
© Автор, 2026

Трон. Расчет.

18+ | Юридическое предупреждение

Данное произведение является художественным вымыслом в жанре тёмного фэнтези (гримдарк). Все события, персонажи, организации, названия и реалии мира являются плодом авторского воображения. Любые совпадения с реальными людьми, историческими фактами или современными событиями случайны.

Произведение содержит сцены насилия, мрачные темы и упоминание вымышленных веществ в контексте художественного сюжета. Оно не содержит призывов к употреблению запрещённых веществ или совершению противоправных действий.

Автор и издатель не несут ответственности за возможный дискомфорт чувствительных читателей. Продолжая чтение, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия и принимаете условия вымышленного мира Велигоры.

Глава 1. Александр.

Море не замолкало. Серый песок западных берегов скрипел под сапогами — мелкий, как мука, забивался в сочленения доспеха, царапал горло. Запах соли и гнилых водорослей. Ветер с моря таскал клочья тумана.

Александр стоял на гребне дюны. Багровый плащ бился о бронзовые пластины панциря. Туника под железом пропотела и высохла так много раз, что соль выступила белыми полосами по швам. Соль разъедала трещины на губах. Каждая — как нитка, втянутая в рану. Плащ тяжелеет от соли и морской воды: за день высыхает трижды, за ночь — трижды намокает. К утру ткань становится жёсткой, как кора. Полгода — загонять пиратов по дельтам, выкуривать из камышей, добивать в болотах. Несколько раз казалось — кончено. Они появлялись снова.

Внизу, на плоской косе, где суша сжималась между дюнами и приливом, стояли три когорты. Тысяча двести багровых плащей, щиты сомкнуты, дротики на плечах, лица пустые.

Трибун Максимилиан поднялся на гребень. Крупный, тяжёлый, с бычьей шеей. Плащ сидел небрежно — застёжка сбита, край мокрый от вина. От него пахло южным — густым, тёмным, не местной кислятиной. Он достал медную флягу, глотнул, облизнул губы.

— К полудню выползут, — сказал он. Говорил лениво, но глаза цепкие. — Прилив уйдёт. Оставит сорок шагов песка. Узкое горло. Их же столкнёт.

— Ждём.

— Хорошее вино кончается, — Максимилиан убрал флягу. — Ещё седмица такой жизни — буду пить лошадиную мочу.

— Ты пил и хуже.

— В школе. Я был молод и глуп. Теперь старше и глупее.

Он хлопнул Александра по плечу. Тяжело, по-братски. Александр не шелохнулся.

— Слышу барабаны, — сказал Максимилиан. Усмешка сошла. Выпрямился.

* * *

Пираты появились из леса, когда солнце прошло зенит. Тёмная масса гудела: голые торсы, мокрые от морской воды, дымящиеся на солнце, секачи, топоры, крючья. Били в барабаны. Выли.

— Первая линия, — сказал Максимилиан. — Дротики.

Сотня дротиков легла на плечи.

— Залп.

Воздух лопнул. Свист оборвался глухим стуком. Наконечники пробивали щиты, железные древки гнулись и застревали. Щиты становились обузой — тяжесть оттягивала руки. Пираты выли, пытаясь выдернуть древки. Кто-то бросал щиты. Кто-то падал.

— Вторая линия. Залп.

Ещё сотня. Песок покрылся тёмными пятнами.

— К бою.

Щиты сомкнулись, короткие мечи выдвинуты из-за края, остриё на уровне паха.

Пираты врезались. Удар отдался в спины задних рядов. Стена дрогнула, устояла. Передние легионеры не рубили. Укол снизу — в живот, в пах, в подмышку. Выдернуть. Шаг. Ещё укол.

Давка была полной. Между щитами и голыми телами не осталось зазора. Задние ряды легионеров упирались в своих, передние давили вперёд, потому что остановиться значило умереть. Песок под ногами превратился в месиво из крови, морской воды и растоптанной плоти. Подошвы скользили. Каждый шаг давался с трудом. Воздух в давке был густой, тёплый, пах железом и страхом, и чем-то ещё — тем, что выходит из человека, когда его тело ломается. Кишки, моча, говно. Запах, к которому нельзя привыкнуть, даже за полгода.

Звук сливался в сплошной гул. Скрежет железа о железо, треск древков, хриплый рёв. Пираты лезли по головам своих, цеплялись за плечи, падали на штыки. Задние напирали, не видя, что впереди, и давили раненых.

Руки легионеров тяжелели от щитов. Соль заливал глаза, жёг, слепил. Дыхание сбивалось — лёгкие хватали воздух, пахнущий кровью и морем. Но линия работала. Укол. Выдернуть. Шаг. Механизм, в котором не было места мысли.

Сталь чавкала. Пираты лезли по щитам, рубили секачами, цеплялись крючьями. Легионеры молчали. Работали.

Правый фланг дрогнул. Песок там был рыхлым, мокрым — ноги скользили. Щель на два щита. Пираты хлынули.

Огромный мужик с бритым черепом перепрыгнул через первый ряд. Топор обрушился на легионера рядом с Александром — молодого, веснушчатого, из назначенцев. Топор вошёл в ключицу. Хруст. Кровь брызнула на наплечник Александра. Тёплая.

Пират выдернул топор. Шагнул к Александру.

Лицо окаменело. Руки заледенели. Дыхание выровнялось до неестественности.

Слева, вне строя.

Ратибор влетел в прорыв без шлема. Грязные волосы слиплись от чужой крови. Короткий легионный меч — снизу, под челюсть, в мягкое горло. Ратибор упёрся ногой в грудь дикаря. Провернул. Хруст кости. Тело рухнуло.

Ратибор сплюнул тёмную слюну. Вытер лицо рукавом.

— Шаг назад, господин легат, — сказал он. — Тут скользко.

— В строй, легионер. Держи позицию.

Ратибор оскалился. Шагнул к своим. Не поклонился.

Строй сомкнулся. Фланг выровняли. Через полчаса пираты побежали.

* * *

Командная палатка была низкая, войти можно было только согнувшись. Пахла дубом, медью, хвоей и чем-то кислым, что въелось в ткань за полгода. Жаровня тлела в углу, и дым её висел под потолком синей пеленой. На складном столе — карты, пергамент, медный кувшин с гравировкой и два кубка. В углу — свёрнутый плащ вместо подушки, сапоги сушатся у жаровни, и от них идёт тяжёлый запах кожи и соли.

Максимилиан пил из кубка. Развалился на складном стуле, вытянул ноги. Сапоги расстёгнуты, носки в песке.

— Шесть месяцев, — сказал он. — Три сражения. Два рейда по болотам. Восемьдесят три человека в землю. — Он покрутил кубок. — Знаешь, сколько это стоит казне?

— Знаю.

— А знаешь, сколько стоит мне? — Он глотнул. — Два кубка этого в день. Раньше хватало одного. Через год буду пить из ведра.

Александр молча смотрел на карту: береговая линия, изрезанная устьями, пиратские гнёзда в дельтах.

— Здесь, — он ткнул пальцем. — Следующий поход. С флотом. Зачистить дельты, сжечь верфи.

— Флот, — Максимилиан покатал слово. — Красивая мечта. Кто заплатит? Казна пуста, как бочка в храме. Банк даст под процент — тогда Роги сядет на шею и будет чесать пятки.

— Роги сядет туда, куда я укажу, — сказал Александр.

Максимилиан усмехнулся и хлопнул кубком по столу.

— Вот это я люблю. Вот за это я с тобой и хожу. — Он налил ещё. — Хочешь?

— Нет.

— Правильно. Пей воду, ешь кашу. Будешь жить долго. А я поживу весело и помру молодым, — Максимилиан рассмеялся. Громко, для всех. Глаза на секунду встретились с глазами Александра — и в глазах улыбки не было. Александр моргнул — улыбка вернулась, словно и не уходила.

Перепил вчера.

Максимилиан откинулся на спинку.

— Люди ропщут. Хотят домой. Скоро Праздник Лета, а мы тут в болотах увязли. Ещё седмица — и начнут дезертировать.

— Праздник встретим в походе. Домой вернёмся, когда дельты будут выжжены, — сказал Александр.

Максимилиан открыл рот, чтобы ответить.

Полог палатки откинулся. Гонец — молодой легионер, запыхавшийся, с красными глазами от бессонницы. В руках футляр из просмолённой кожи. Печать багрового воска — императорская.

— От его величества Императора. Срочно.

Максимилиан хмыкнул — тихо, себе в кубок.

— Срочно, — повторил он. — У императоров всё срочно. Даже когда они умирают — срочно.

Гонец покраснел, но не ответил.

Александр взял футляр, сломал печать большим пальцем, развернул свиток.

Челюсть свело. Пальцы впились в пергамент, тот хрустнул.

Максимилиан поставил кубок. Усмешки не было.

Александр свернул свиток.

Максимилиан смотрел на него — прямо, без усмешки. Трибун умел считать. Когда счёт сходил к нулю, он переставал шутить.

— Я помню, как нас учили в школе, — сказал он. — Держи легионы близко, когда старик кашляет. Ты помнишь?

— Помню.

— Так вот. Я держу.

Говорил трезво.

— Выступаем на рассвете. В столицу.

— Пираты?

— Пираты подождут.

Максимилиан встал, застегнул сапоги, поправил плащ. Вышел. Ни одного лишнего слова.

* * *

Костры горели ровными рядами. Лагерь стоял по уставу: рвы нарезаны, частокол выставлен, палатки ровными квадратами. Между рядами ходили дозоры. Пахло копчёным салом, кашей и хвоей.

Александр вышел из палатки без плаща и панциря. Туника, пояс, ножны. Подошёл к ближайшему костру, где ели центурионы, и сел на чурбак.

— Вкусно? — протянул руку к котелку.

Центурион дёрнулся и опомнился. Александр зачерпнул кашу деревянной ложкой. Лук, пшено, кусочки солонины.

— Потери? — спросил он.

— Двенадцать, — сказал центурион. — Двадцать раненых. Трое тяжёлых.

Александр кивнул — ложка соскребла дно.

— Найди легионера, который заколол верзилу рядом со мной. Третья манипула.

Центурион ушёл и вернулся через минуту. Ратибор стоял перед костром, переминаясь с ноги на ногу. Волосы мокрые, лицо обтёрто рукавом.

— Садись, — сказал Александр.

Ратибор сел на чурбак.

— Имя?

— Ратибор. Третья манипула, вторая центурия.

— Ратибор. Ты нарушил строй.

Молчание.

— Бросил позицию. Бежал к командиру без приказа. Оставил щит.

— Так точно.

— Если бы строй рухнул, тебя бы судили.

— Так точно.

Александр зачерпнул из котелка, протянул ложку. Ратибор замер.

— Ешь.

Ратибор взял ложку и ел жадно, не жуя.

— Ты спас мне жизнь. И ты бросил строй. Оба факта верны. Я не забуду ни одного.

Ратибор проглотил.

— С завтрашнего дня ты в моей личной охране. Дорога в столицу долгая. Мне нужны люди, которые действуют, когда другие думают.

— Слушаюсь.

Ратибор ушёл. Александр поднялся, кивнул центуриону. За спиной шептались: легат ел из общего котелка. Легат был свой.

* * *

Ночью факелы чадили на берегу. Легионы стояли стеной, море затихло.

Вождь пиратов стоял на коленях. Голый, руки связаны за спиной. Тело в шрамах — от прошлых боёв, от прошлой жизни. Лицо разбито. Глаза живые.

Александр стоял перед ним.

— Империя предлагает милосердие, — сказал он. — Но милосердие требует покорности.

Вождь захрипел. Засмеялся. Булькая кровью.

Александр наклонился. Близко. Трещины на губах, запах гнили изо рта.

— Кровавый орёл.

Максимилиан отдал приказ. Центурия принесла два свежих бревна. Вождя положили лицом вниз. Руки привязали к брёвнам.

Палач-центурион снял плащ. Руки толстые, в шрамах. Тяжёлый тесак. Он обхватил рукоять обеими руками, дышал тяжело, через нос. Пот выступил на лбу.

Первый удар — по позвоночнику. Вождь взвыл — и сразу замолк, потому что тело уже не слушалось. Из-под него потекло — тёмное, тёплое, с запахом, который перебил даже кровь. Песок впитал. Легионы молчали.

Александр отвернулся. Поднял с земли пояс вождя. Тряпьё, пропитанное рыбьим жиром и солью. Он перебирал его, как хозяин, разбирающий бельё.

Своё правило: не смотреть, когда работает палач. Лицо оставалось ровным. Только дыхание приходилось держать. Ровным. Усилием.

Желудок свело — не от вида крови, от запаха каши, который донесло от костров. Он не ел с утра. И сейчас, после всего, думал о каше. О тёплой, с кусочками солонины.

За спиной работал палач. Тесак вошёл у лопатки. Он отделял мышцы от рёбер, пыхтя через нос. Хрящи поддавались с влажным хрустом. Кровь текла по серому песку, чёрная в свете факелов. Запах свежей крови поднялся густо, смешался с морской солью.

Тысяча двести человек стояли тихо.

Рёбра ломали снаружи. Отгибали. Александр нашёл в тряпье кольцо. Не железо. Золото. На печатке — змея. Банк Велигора. Дикари не носили золото юга. За спиной хрустело. Палач ломал рёбра одно за другим.

Лёгкие извлекли — мокрые, тёмные. Разворачивали на спине, как крылья. Вождь дышал. Лёгкие вздувались на ветру. Булькающий хрип шёл из разорванной спины — воздух проходил через мокрую ткань, через кровь, через разорванную плоть.

Александр вытер кольцо о плащ. Спрятал в мешочек. Распрямился.

Максимилиан подошёл. Посмотрел на вождя — на разорванную спину, на лёгкие, которые ещё вздувались на ветру.

— Красиво получилось, — сказал он. — Жаль, что не при жизни.

Александр не ответил.

— Сжечь мёртвых, — сказал он. — Выступаем на рассвете.

* * *

Утром туман с моря был серый, сырой.

Лагерь сворачивали: рвы засыпали, частокол вытаскивали, палатки убирали в тюки. Лагерь исчезал.

Багровые плащи выстроились колонной — четыре в ряд. Скрип кожи, стук подкованных сапог.

Золотое кольцо лежало в мешочке, тяжёлое, тёплое от тела.

Кольцо Банка на руке дикаря, на Свинцовом море.

Александр ехал впереди на гнедом мерине. Ратибор шёл позади, пешком, — меч на поясе, травинка в зубах. Колонна уходила на восток, и море затихало за спиной.

Глава 2. Герман.

Тина поднималась от озера невидимым паром — густым, тяжёлым, с привкусом гнили и стоячей воды. Зима не ушла с берегов, а лишь отступила в камыши, притаилась под корягами, и лёд по краям ещё держался ломкой коркой, которая проседала под пальцем, если нажать. Герман сидел на складном кресле, слуги вынесли его на берег и установили на утоптанной

площадке между двумя старыми дубами, и смотрел на серую воду, которая не двигалась — словно озеро замерло вместе с зимой, ожидая, когда ему позволят ожить.

Лагерь раскинулся на холме за дубами — три десятка палаток из промасленного полотна, серых от пыли дороги. У костров суетились слуги, вертели вертела, с которых капал жир, шипевший на углях. Лошади стояли привязанными к кольям — тяжёлые боевые кони с заплетёнными гривами, рядом с ними — охотничьи, лёгкие, вздрагивающие ушами на каждый звук. Псарня лаяла у края лагеря — свора борзых, тонконогих, жадных до крови, рвалась на поводках, чуя добычу. Дым от костров стелился низко, прижатый к земле ветром с озера, и пах горелым можжевельником и конским потом.

Медвежий плащ давил на плечи, холод пробирался под мех, забирался в спину, в поясницу, в левое колено, которое ныло тупой, нудной болью. Боль жила в нём давно, съела суставы, выела ходы в позвоночнике, и он привык, как привыкают к шуму реки за окном: замечаешь, только когда замолкает. Но она не замолкала никогда. Лишь меняла голос — то тише, то громче, в зависимости от влажности и того, сколько времени прошло с последнего глотка.

Фляга лежала во внутреннем кармане, прилепленная к телу. Собственное тепло, возвращённое металлом, грело бок. Два часа с последнего глотка. Ещё час. Император терпит. Император всегда терпит, потому что император не может позволить себе быть слабым перед теми, кто ждёт его слабости, а ждут — все: сыновья, сестра, банкир, церковник, каждый, кто стоит достаточно близко, чтобы увидеть, как трясутся руки.

За спиной гомонила свита — слуги, егеря, советники, которые приехали на охоту и теперь ждали, пока император соизволит встать и пойти к собакам. Охота. Он не собирался охотиться. Он собирался говорить с сыновьями, и разговор этот был тяжелее любого зверя, которого можно загнать.

На том берегу, далеко, в кустах, рвала добычу свора императорских борзых — гонкий, захлёбывающийся лай катился по воде, и Герман вбирал его, как вбирают шум, который не имеет значения. Собаки. Звери. Кровь. Ему хватало крови и без собак.

Столько лет прошло. А он всё ещё слышал этот хрип. Брат — только имя, лицо стёрлось, остались только руки на древке и вода, холодная, как стекло. Они плыли на лодке — двое, без слуг, без свидетелей. Брат говорил что-то о земле, о том, что отец делит удел несправедливо. Герман слушал и кивал. А потом — весло в руках. Удар. Не рассчитанный, не холодный — сорвавшийся, как сучок с ветки. И хрип. Брат захлёбывался водой, а Герман держал его за плечи, чтобы не вынырнул. Держал, пока хрип не стих. Потом — отпустил. Тело ушло вниз, в серую воду, и всплыло только через два дня, у другого берега, раздувшееся, чужое.

Егерь подошёл сбоку — молодой, с рыжей бородой, из новых, — и протянул кубок. Герман взял, не глядя, отпил. Тёплое, кислое вино. Ничто не помогало. Он понимал, что не поможет. Ничто не помогало, кроме зелья, а зелье стоило дорого — ясность ума за несколько часов покоя. Он поставил кубок на низкий стол, рядом с креслом, и сказал, не поворачивая головы:

— Пошли за принцами. Пусть подходят. Без свиты. Ко мне.

Егерь убежал. Герман остался один: руки на подлокотниках слегка подрагивали, ныло колено, запах тины не уходил — густой, тёплый, въевшийся. Серая вода застыла.

Он думал о том, как будет говорить. Слова — какие слова? Он не знал. Тридцать лет на стуле. Тридцать лет указов и приговоров. А он не знал, какие слова найти для сына, которому собираешься сказать: ты — не наследник. Ты — не достоин. Империя — не твоя.

Пот выступил на лбу — крупный, холодный, как всегда, перед приступом. Он вытер его тыльной стороной ладони, поморщился. Ждал.

Александр подошёл первым. Мальчик вырос. Не мальчик. Сорок лет. Легат. Командир когорт, который полгода гонял пиратов по Свинцовому морю и вернулся с победой, с молвой, с любовью легионов. Он шёл от лагеря ровным, привычным шагом — без плаща, без доспеха, в простой тунике тёмного цвета с поясом, на котором висел меч, и эта простота была не напуск-

ной, не показной: он носил её, как носят вторую кожу. Волосы острижены коротко, по-солдатски. Лицо — загорелое, обветренное, с линиями, которых не было пять лет назад. Линии — от ветра, от соли, от бессонных ночей.

От него пахло солнцем и солью — той солёной водой, что остаётся на коже после долгого дня в море. И ещё — кожей, нагретой доспехом, которую не успели отмыть. Чистый запах. Живой.

Он пришёл с войны. А я — с берега. Где сижу и жду, когда зелье отпустит.

Он остановился в трёх шагах. Поклонился — в меру, ровно, как кланяются отцам, а не императорам.

— Отец. Ты звал.

— Сядь, — сказал Герман.

Александр сел на походный стул, который слуги поставили рядом с креслом. Спина прямая, руки на коленях, но не напряжённые — спокойные, живые. Он смотрел на озеро, на лёд, на камыши, и в его лице не было ни напряжения, ни ожидания. Просто — ждал. Герман завидовал этому терпению. Или — боялся его. Не мог разобрать.

Потом подошёл Олаф, и Герман услышал его раньше, чем увидел. Шаркающие шаги, тяжёлые, неровные. Запах — кислое вино, которого было слишком много, и под ним — приторный, тошнотворный, липкий, который не перебивало ничем. Зелье. Герман стиснул зубы. Олаф вынырнул из-за дуба, спотыкаясь о корень, с мехом вина в руке — тёмным, кожаным. Плащ расстёгнут, туника мятая, волосы сальные, прилипшие ко лбу полосами. Глаза — мутные, бегающие, с красными прожилками.

— Звал? — он плюхнулся на траву у ног Германа, вытянул ноги, глотнул из меха. Вино потекло по подбородку, он не стёр. — Я был на охоте. Собаки взяли след, я хотел…

— Собаки подождут, — сказал Герман. — И ты подождёшь.

Олаф дёрнул плечом, глотнул ещё. Не спросил разрешения. Герман смотрел на него — на дрожащие пальцы, которые обхватывали мех, на потную шею, на сальную прядь, которая висела над глазом. Старший сын. Первая кровь. Тот, кому он должен был передать стул.

Боль прострелила спину, и Герман поморщился, потёр поясницу, сжав зубы так, что заныли дёсны. Он вытер лицо рукавом — грубо, как солдат, не как император.

— Я позвал вас не для охоты, — сказал он. Помолчал. Сглотнул. — Я принял решение. На празднике Лета объявлю перед советом.

Олаф поднял голову. Мутные глаза чуть прояснились — сквозь вино и зелье пробивалось что-то живое, настороженное.

— Какое решение?

— О наследнике.

Олаф выпрямился. Мех замер у рта. Вино потекло по подбородку — он не заметил.

— Трон, — сказал Герман, — переходит к Александру.

Тишина стала плотной, как вата, в которой вязнут звуки. Где-то у берега треснул лёд — коротко, сухо, как перелом кости. И снова тишина. Только далеко, на том берегу, ещё лаяли собаки, и их лай доходил сюда слабым, тонким эхом, как крик с того света.

Олаф медленно встал. Мех выскользнул из руки, упал в траву. Вино потекло по земле — тёмное, как разбавленная кровь.

— Ты не можешь, — Олаф дёрнулся. Лицо налилось сизым. Руки взметнулись. Крик вышел петушиным. — Я — старший. По крови. По закону. По Завету. Ты не можешь отдать…

— Закон говорит, что император выбирает, — перебил Герман. — Закон говорит, что воля императора — воля Отца. А закон говорит, что ты, Олаф, не сядешь на этот стул. Не сядешь — потому что убьёшь себя на нём. И нас всех заодно.

Я говорю ему закон. А сам нарушил его пятьдесят лет назад. Когда брат был старше. Когда я был моложе. Когда весло было в моей руке.

Олаф зашипел, отступил на шаг, спина вжалась в ствол дуба, подбородок прижался к груди, глаза забегали — от отца к брату, от брата к озеру. Так он выглядел всегда, когда его прижимали: загнанный щенок, который знает, что его ударят.

— Я — твой сын, — прошипел он. — Кровь. Твоя кровь. А он? — палец ткнул в Александра, который сидел на стуле и не шелохнулся. Будто его тут не было. — Что он сделал? Побил дикарей? И ты отдаёшь ему…

— Он тоже моя кровь и я отдаю ему трон, — Герман поднял руку, пальцы дрожали, он сжал кулак — дрожь спряталась внутри. — Потому что ты пустишь Империю по ветру. Ради зелья. Ради обиды. Ради ничего.

Олаф задохнулся. Рот открылся, закрылся. Крик застрял в горле. Он смотрел на отца — широко, мутно, с обидой, которая родилась тогда, когда отец в первый раз отвернулся, в первый раз не похвалил, в первый раз назвал Александра — а не его.

Герман отвёл глаза. Боль в спине ныла, как прибой, ровно, неутихающе. Он потёр лоб — ладонь стала мокрой. Фляга лежала во внутреннем кармане. Ещё полчаса. Потерпит.

— Я видел цену трона, — сказал Герман тихо. — Я знаю, что она делает с кровью. Один удар, и всё. Весло в руках. Брызги. Хрип…

Боль прострелила спину — от поясницы до затылка, как нож между позвонков. Костяшки на подлокотнике побелели. Перед глазами — серая вода, рука на древке, его рука, молодая, сильная, и хрип, который не прекращался, который…

Он зажмурился. Открыл глаза. Олаф стоял, качаясь. Александр сидел, не двигаясь.

— Я не хочу этого для вас, — Герман потёр ноющее колено, стиснул зубы. — Я сделаю выбор. За вас. Потому что вы сами не сделаете. Александр — сядет. Олаф — уйдёт. Живой. С почётом. С землёй. С головой на плечах.

— С землёй, — Олаф засмеялся — дробно, как треск сухих веток. И в этом смехе не было веселья — только желчь и обида, копившиеся годами. — Ты дал Бориславу Север. Герб. Титул. Волчью голову на лазурном поле. Дяде своему — удел, дружину. А мне — твоему старшему сыну — землю.

Имя Борислава легло между ними, как камень, и Герман почувствовал укол — не боли, а чего-то другого, более глубокого, что не имело названия. Дядя, которому он дал Север, чтобы убрать от столицы, чтобы держать на расстоянии. И теперь Олаф швырял это ему в лицо, как камень.

— Землю и жизнь, — ответил Герман. — Это больше, чем ты получил бы в борьбе.

— Я не просил твоей милости, — Олаф поднялся, ноги подрагивали, он сжал кулаки. Челюсть стиснулась. — Я — твой старший сын. По крови. По Завету Первородства. Каждый князь знает это. Каждый старший сын в Империи знает это. Ты сломаешь закон — и они не простят.

— Они простят, — сказал Герман. Плечи опустились. Пальцы разжались на подлокотнике. — Потому что альтернатива — война. А войну не прощают никогда.

— А если я не соглашусь? — Олаф выплюнул это. Вскинул руки. Пальцы скрючились. — Если я не поддержу? Если я встану перед советом и скажу…

Герман повернулся к нему. Медленно. И посмотрел — не как отец, не как император, а как человек, который убивал и помнит, как это делается. Лицо его было ровным, но глаза — тяжёлые, тёмные, с тем особенным давлением, от которого воздух густеет и дышать становится трудно.

— Тогда, — сказал он, подавшись вперёд, — ты не выйдешь из этого леса.

Олаф замер. Слова застряли в горле. Он смотрел на отца — на потные виски, на дрожащие руки, на старое, морщинистое лицо, на котором не было ни гнева, ни жалости, — только усталость. Усталость человека, который прошёл через слишком много и не остановится ещё перед одним.

Он отвернулся. Плечи дрожали. Постоял — спиной, несколько секунд, — и пошёл прочь, спотыкаясь о корни, цепляясь за ветки. Мех поднял по пути, прижал к груди. Не оглянулся.

Где-то рядом охотничий пёс — рыжий, тощий, с облезлым хвостом — поднял лапу и пометил корень дуба. Моча стекала по коре, блестящая на солнце. Пёс фыркнул, удовлетворённый, и побежал дальше.

Герман смотрел на него.

Вот он — настоящий наследник. Метит территорию. И никто не спорит.

Он усмехнулся. Усмешка вышла сухой, как кашель.

Герман смотрел на его спину — ссутуленную, жалкую, уходящую между деревьев. Старший сын. Первая кровь. Мальчик, которого он держал на руках — лёгкий, тёплый, пахнущий молоком. Теперь от него пахло вином, зельем и потом.

Герман опустил взгляд на озеро — серая вода, тина, лёд в камышах, ломкий, проседающий. Собаки на том берегу смолкли — почуяли, что охота отменена, или просто устали. Ветер нёс запах тины — сильный, тяжёлый, как выдох больного зверя. Боль в спине ныла, тупая, тягучая, как отлив. Он потёр колено — сустав хрустнул, сухо, как ветка. Фляга лежала во внутреннем кармане. Ещё полчаса. Потерпит.

— Отец.

Александр произнёс это ровно. Разница, которую замечал только тот, кто слушал внимательно.

— Спасибо, — сказал Александр.

Герман открыл глаза, посмотрел на него. На загорелое лицо, на обветренные линии, на руки, которые лежали на коленях — неподвижные, спокойные, как руки человека, который умеет ждать и знает, что ждать — это тоже действие.

— Не благодари, — сказал он. — Ты ещё не знаешь, за что благодаришь.

Александр молчал секунду. Большой палец правой руки скользнул по ткани на колене — раз, коротко. И замер.

— Ты спасаешь нас. Обоих.

— Я спасаю империю. Не вас.

Собаки на том берегу затихли. Лес стоял тихий, и в этом молчании было что-то неправильное, как в тишине, которая наступает перед грозой, когда птицы замолкают и ветер падает.

— Праздник через седмицу, — сказал Герман. — Будь готов.

— Я готов.

— Готов ли, — пот залил глаза, и он вытер его тыльной стороной ладони — грубо, без церемоний, — к тому… что стул — это не награда. Это зубы. Они смыкаются на твоей шее каждый день, каждую ночь, и ты не можешь кричать, потому что император не кричит.

Александр молчал. Смотрел. Но в глазах — то, чему Герман не мог найти названия: не амбиция, не страх, не радость. Что-то другое. Холодное. Спокойное. Как вода в глубине, которая не движется, но давит.

— Иди, — сказал Герман. — Готовься.

Александр встал, кивнул, развернулся и пошёл к лагерю — ровно, не торопясь, ни разу не оглянулся. Спина его была прямой, шаг — ровным. Герман смотрел ему вслед и думал — не в первый раз — что не знает этого человека. Видел — и отводил глаза. Лёд, который он видел сейчас, был всегда — просто раньше Герман не хотел смотреть.

Потом он остался один. Озеро лежало перед ним — серая вода, тина, лёд в камышах, ломкий, проседающий.

Он достал флягу. Руки дрожали, пальцы не сразу справились с пробкой — та сидела плотно, намертво, и он крутил её, и злость поднималась, тупая, бессильная — на руки, на пальцы, на тело, которое не слушалось, разваливалось, гнило заживо. Пробка поддалась. Он

глотнул — жадно, слишком жадно, горькая влага пошла по горлу тёплой, обволакивающей, и боль отступила — как волна от берега, зная, что вернётся.

Сладкое забытье. Жаль, что императоры не могут позволить себе эту слабость открыто. Иначе пришлось бы делить трон с вечным сном, дарованным этим зельем.

Он закрыл глаза. Сидел на берегу. Император. Старик с трясущимися руками. Убийца, который боялся темноты, потому что в темноте — вода. Хрип. Лицо брата, уходящее вниз. И рука на древке. Его рука. Которая не отпустила.

Он не помнил, почему не отпускала. Помнил только, что не отпускал.

Тот взгляд. Прямой. Без осуждения. Без вопроса. Только понимание.

Хорошо. Пусть молчит. Молчание — это тоже согласие.

А брат — брат плавал плохо. Очень плохо. Даже когда его давили вниз.

Тридцать лет на стуле. Стул, который должен был занять другой. Тот, кто старше. Тот, кто по закону. Но тот не вернулся из плавания. А этот — вернулся. И сел. И сидит до сих пор.

А теперь — Александр. Потому что Олаф не может. А этот — может. Или не может — не важно. Важно, что сидит. И будет сидеть. Пока не устанет. Или пока не утопит кого-нибудь. Как тот. Когда был совсем ребёнком.

Кто из нас хуже — тот, кто утопил? Или тот, кто не вынырнул?

Пятьдесят лет. И вода всё ещё холодная. И сын всё ещё молчит.

Тогда.

Глава 3. Ольга.

Море пахло иначе, чем в столице: чистой, резкой солью, словно ножом по стеклу, без тины и гнили. Ветер с запада нёс свежесть гор, и Ольга стояла на террасе с закрытыми глазами, вдыхая этот воздух. Пальцы рук сцепились в замок, костяшки побелели — привычка, от которой она не могла избавиться, хотя и пыталась.

Внизу, под террасой, кипел порт Невограда. Десять каменных причалов, забитых кораблями до отказа: торговые когги с набухшими парусами, узкие галеры с таранами, рыбацкие лодки, пахнущие тиной и солёной рыбой. Грузчики в кожаных фартуках таскали тюки с шерстью, бочки с вином, ящики с пряностями — каждый тюк, каждая бочка, каждый ящик были помечены печатью Дома Моря: чёрный корабль на волнах. Над всем этим стоял гул — крики торговцев, скрип блоков, плеск волн о борта, ругань матросов на языке, которого Ольга не знала, но понимала: это был язык тех, кто считает деньги на языке ветра. Море пахло рыбой, смолой и деньгами. Это был не имперский порт, где всё пахло казённой пылью и страхом, а купеческая артерия, где каждый тюк — это долг, каждый корабль — это ставка, каждый матрос — это человек, который знает, что завтра может не вернуться.

Вот где настоящая Империя. Не в дворцах, где старик кашляет кровью, а в портах, где люди торгуются за жизнь.

Ольга расправила складки чёрного платья без вышивки. Чёрный цвет она носила уже два года, и этого было достаточно. Камень террасы оставался холодным даже летом; холод поднимался через подошвы в ноги, в колени, в поясницу, но вдова привыкает ко всему.

Терраса дышала купеческим достатком. Тяжёлые дубовые кресла блестели лаком, на столе из тёмного дерева стоял поднос с мёдом, сыром, чёрным хлебом и козьим молоком, а в фарфоровом блюдце темнели заморские специи, источая густой аромат. Это был не имперский дворец, а купеческая крепость.

— Доброе утро, матушка, — сказала Ольга, оборачиваясь с мягкой улыбкой. Каждое слово было выверено, как стежок на шёлке.

Марфа стояла в дверях, невысокая и сухая, одетая в чёрный невоградский шёлк, который стекал по плечам подобно воде. Седые волосы скрывала кружевная накидка, а на пальцах

тяжёлыми печатками сверкали три перстня; на одном из них виднелся серебряный корабль на волнах — герб островного союза. Марфа звякнула браслетом, и молодой светловолосый раб у двери склонил голову, бесшумно удаляясь.

— Эдуард ещё не выходил?

— Мальчик опять в библиотеке, — ответила Марфа, опускаясь в кресло, которое скрипнуло под её сухим телом. Раб поставил перед ней поднос. — С тех пор как пришли корабли из столицы, он не выходит оттуда, читает про легионы и тактику. Она махнула рукой, словно отгоняя назойливую муху.

— Ему пятнадцать.

— Мой покойный сын в тринадцать уже считал долговые записи, — сказала Марфа, глядя на Ольгу прямо, без тепла и без вражды.

— Эдуард считает мёртвых на старых картах.

Ольга не ответила, и улыбка на её лице не дрогнула. Она взяла чашку молока и отпила тёплую жидкость с привкусом трав.

— Он умный мальчик, — сказала Ольга. — Как его отец.

— Его отец умел считать деньги, — возразила Марфа, наливая себе чай. — Это полезнее, чем умение считать легионы.

Рабы двигались по террасе беззвучно: пожилой слуга с седой бородой подмёл крошки у ног хозяйки, другой сменил цветы в вазе на белые гвоздики с красной каймой. Их запах на миг перекрыл море, но ветер вскоре вернул соль.

— Мы выезжаем завтра к Празднику Лета, — сообщила Ольга.

— Знаю, — Марфа помешала чай, и ложечка звякнула о фарфор. — Аскольд уже распорядился: корабль готов, охрана двадцать человек, провизия на седмицу.

— А вы?

Марфа подняла бровь.

— Что — я?

— Вы остаётесь?

— Я остаюсь, — Марфа поставила чашку на стол. — Столица для молодых и для тех, кто хочет играть в игры, которые я уже видела. Она посмотрела на Ольгу долгим, тяжёлым взглядом. — Ты знаешь, зачем тебя зовёт император?

Ольга улыбнулась мягко и вкрадчиво.

— Праздник Лета. Семья. Традиция.

— Традиция, — хмыкнула Марфа. — Традиция — это когда старик зовёт семью, чтобы вместе поесть и помолиться. Не традиция, когда император вызывает вдову с ребёнком за тридевять земель, через море. Она наклонилась вперёд, и браслеты снова звякнули. — Старик болен, Ольга.

Ольга не шелохнулась, лишь отпила молоко, не меняя выражения лица.

— Все стареют, матушка.

— Не все стареют так быстро, и не все зовут вдов с внуками перед праздником, — сказала Марфа, откидываясь на спинку кресла и глядя на море. — Вдова с ребёнком — опасная фигура при дворе, Ольга. Особенно если ребёнок — внук императора, а у самого императора есть другие сыновья.

Ольга молчала, не стирая улыбку с губ, и выдержала паузу.

— Я вдова, матушка. Эдуард — ребёнок. Мы безобидны.

Марфа смотрела на неё цепко и испытующе.

— Безобидны, — повторила она. — Да. Конечно.

Марфа помолчала, глядя на море. Ветер трепал кружевную накидку на её седых волосах. Ольга заметила: руки свекрови дрожат — не от страха, а от старости, от той дрожи, которая приходит, когда тело уже не слушается...

— Вот что я тебе скажу, — произнесла Марфа наконец, и браслеты звякнули, когда она наклонилась ближе. — В столице улыбаются те, кто точит нож. Не верь улыбкам. Верь рукам — смотри, что они делают, когда думают, что никто не видит. И держи сына близко. В столице дети — разменная монета. Особенно если у императора нет прямых наследников.

Ольга кивнула, не меняя выражения лица.

— Я знаю, матушка.

— Знаешь? — Марфа усмехнулась сухо, без тепла. — Тогда знай ещё: если отец предложит тебе остаться во дворце после Праздника — откажись. Скажи, что вдова должна жить в доме мужа, а не в доме отца. Это будет звучать достойно, и никто не заподозрит, что ты боишься.

— А если он настаивает?

— Тогда проси отдельный флигель, подальше от брата. И не пускай Эдуарда одного в сад — там много углов, где ребёнок может исчезнуть, и никто не услышит крика.

Ольга смотрела на Марфу. Дрожащие руки. Пауза перед каждым словом, словно свекровь взвешивает его на весах, прежде чем отпустить.

Она знает. Про Германа. Про Олафа. Про Александра. Но не скажет вслух — слова становятся фактом, а намёк нельзя оспорить.

После короткой паузы Марфа отпила чай и поставила чашку.

— Матушка, — произнесла Ольга. — Если бы я знала больше, я бы сказала вам. Вы — семья моего мужа, и я уважаю этот дом.

Марфа ещё мгновение изучала её взглядом, потом откинулась в кресле.

— Ступай, собирай мальчика и скажи ему, чтобы помыл руки — он опять в чернилах.

Ольга встала, поклонилась и пошла прочь с прямой спиной и ровными шагами, держа пальцы разжатыми и свободными.

* * *

Ольга шла по коридору, и ноги её ступали бесшумно по ковру — тяжёлый, шерстяной, с вытканным узором кораблей и волн. Стены были увешаны картами — морскими, речными, торговых путей — и на каждой карте красные точки отмечали долги, синие — поставки, чёрные — потери. Дом Моря не прятал свою работу. Дом Моря гордился ею.

Кабинет Аскольда пах воском, старой кожей и чернилами, а стены от пола до потолка занимали полки со свитками, кодексами и пергаментами в футлярах. Банкир покупает то, что имеет ценность, и книги обладали ею в полной мере.

Аскольд сидел за столом, широкий и седой, с лицом, изрезанным морщинами, как карта дорог, и толстыми пальцами в чернильных пятнах. Перед ним лежал раскрытый реестр, перо и чернильница, и он не поднял головы, когда Ольга вошла.

— Садись, — сказал он.

Ольга села. Свечи горели даже днём, потому что окна выходили на север и давали лишь серый, тусклый свет. На стене висела карта торговых путей через Велигор, Зуб, Слободу и Североск, где красные нити означали долги, синие — поставки, а чёрные — потери, которых было больше всего.

— Корабль готов, охрана двадцать человек, мои проверенные люди, провизия на седмицу — Марфа сказала, ты знаешь, — перечислил Аскольд.

— Знаю.

— Документы из сейфа, — продолжил он, поднимая глаза. — Те, что с печатью Банка, я оставлю здесь, а те, что с печатью императорской канцелярии, возьмёшь с собой.

— Почему?

— Потому что в столице тебе понадобятся бумаги, доказывающие, что ты вдова, а не беглянка. Бумаги Банка — это долги, а долги в столице являются рычагом, который ты оставишь мне, ибо я лучше знаю, как его дёрнуть.

Ольга кивнула, чувствуя, что Аскольд смотрит на неё не как свёкор, а как партнёр.

Аскольд выдвинул ящик стола — тяжёлый, дубовый, с медной накладкой в виде корабля — и достал оттуда золотое кольцо с печатью. Чёрный корабль на волнах, герб Дома Моря. Кольцо лежало на бархатной подушечке, и Ольга увидела, что золото потускнело от времени — это кольцо носили поколения банкиров Дома Моря.

— Возьми, — сказал Аскольд. — Это моя печать. С ней ты можешь занимать деньги в любом банке Империи без вопросов. Любой казначей примет её и не спросит, зачем вдове императорской крови нужны солары.

Ольга взяла кольцо. Золото было лёгким, но рука опустилась, будто держала камень. Чужая власть. Чужие правила.

— Но помни, — продолжил Аскольд, постукивая пальцем по реестру. — Каждый солар, который ты возьмёшь, будет записан в эту книгу. Долги не прощают. Даже родным.

— Я знаю, — ответила Ольга.

— Знаешь? — Аскольд посмотрел на неё прямо, без тепла. — Тогда знай ещё: если ты возьмёшь больше, чем можешь отдать, Банк заберёт всё. Земли, дом, сына. Особенно сына.

Ольга сжала кольцо в ладони, чувствуя, как холодное золото нагревается от тепла её кожи.

— Я не возьму больше, чем нужно, — сказала она.

— Посмотрим, — произнёс Аскольд и вернулся к пергаментам.

Ольга встала и вышла, тихо закрыв за собой дверь.

* * *

Библиотека находилась в конце коридора, за тяжёлой дубовой дверью, обитой кожей. Ольга толкнула дверь, и запах кожи, старой пыли и пергамента ударил ей в лицо — запах, который она любила, потому что он пах не властью, а знанием. А знание — это единственная власть, которую нельзя отнять.

Эдуард сидел на полу с поджатыми ногами и прямой спиной, держа на коленях раскрытый кодекс с пожелтевшими, обтрёпанными страницами. Его пальцы были испачканы глубокими синими чернилами, въевшимися в кожу, и он не поднял головы, когда Ольга вошла.

— Дядя Велизар писал, что первые легионы строились по четыре ряда, но это неправда, — сказал он, не отрываясь от чтения. — Здесь написано «по шесть», потому что четыре ряда не выдержат удар тяжёлой пехоты, а задние ряды давят вперёд весом.

— Здравствуй, Эдуард.

Он поднял голову, и Ольга встретила прямой взгляд тёмных глаз. Волосы у него были тёмные и прямые, совсем не такие, как пшеничные волосы и мягкое лицо покойного отца; Эдуард пошёл в имперский корень, о чём часто говорил свёкр, и Ольга всегда соглашалась с улыбкой, храня молчание.

— Здравствуй, матушка.

— Что читаешь?

— Кодекс эпохи императора Первого «О войне Северных походов», — он закрыл кодекс осторожно, как закрывают рану. — Здесь описана битва у Каменного моста, который ныне зовётся Зубом; дядя говорит, что это выдумка, но тактика реальна: стена щитов, залп дротиков на двадцать шагов, мягкий стержень гнётся в щите и не даёт вытащить древко, тянет вниз, и без щита воин становится мертвецом.

Ольга присела рядом и положила руку ему на затылок, чувствуя тепло живых волос, пахнущих пылью и чернилами.

— Смотри, матушка, — Эдуард развернул кодекс на странице с рисунком, и Ольга увидела, что рисунок старый, выцветший, но детальный: сотни маленьких фигурок в доспехах, щиты, копья, кровь на снегу. — Здесь битва у Каменного моста. Видишь? Легионы стоят стеной, а варвары бьют с флангов. Но легионы не ломаются, потому что задние ряды давят вперёд. Это называется "живая стена".

Он говорил с такой уверенностью, будто сам стоял в том строю, будто чувствовал, как щит давит в спину, как копьё входит в мясо, как кровь тёплая и липкая на руках. Ольга посмотрела на его пальцы — чернила въелись в кожу, в трещинки у ногтей, в линии ладоней. Эти пальцы никогда не держали меча. Но они держат то, что острее.

— Ты любишь войны, — сказала Ольга, глядя на рисунок.

— Я люблю порядок, — ответил Эдуард, не отрывая взгляда от рисунка. — Война — это порядок. Там всё честно: кто сильнее, тот и прав. А в книгах… в книгах всё сложно. Там люди говорят одно, делают другое, и никто не знает, кто лжёт.

Он прав. В книге ошибаешься — переворачиваешь страницу. В жизни ошибаешься — не встаёшь.

— Эдуард, — произнесла она, — когда мы приедем в столицу, ты увидишь много людей, которые говорят одно, а делают другое. И ты должен помнить: не все, кто улыбается, — друзья. Не все, кто молчит, — враги. А те, кто говорит правду, — чаще всего лгут громче всех.

Эдуард поднял на неё глаза — тёмные, прямые, как у деда.

— А как понять, кто лжёт?

— Смотри на руки, — ответила Ольга. — Руки не умеют лгать. Если человек говорит "я твой друг", но сжимает кулак — он враг. Если говорит "я не знаю", но пальцы бегают по ткани — он знает. Если говорит "я верен императору", но не кланяется, когда проходит знамя — он не верен.

Эдуард кивнул — коротко, точно, как ставит точку в реестре.

Он будет считать руки. Как считает мёртвых на картах.

— Эдуард, мы едем в столицу завтра, — сказала Ольга.

— Я знаю, я слышал.

— Что ты слышал?

Он помолчал, посмотрел на неё. Пауза была взрослой — не детской растерянностью, а расчётом.

— Дед ругался с управляющим и сказал, что принц Олаф совсем пропал и пьёт зелье, а государь якобы хочет позвать дядю Александра, хотя слуги говорят, что в столице неспокойно, казна должна банку больше, чем может отдать, а в легионы идут неохотно — платят мало, требуют много...

— Достаточно, — остановила его Ольга.

Эдуард замолчал.

Ольга смотрела на сына.

Пятнадцать лет. Тихие шаги. Уши, которые ловят шёпот за три стены. Хорошо и опасно. Одновременно.

— Слушай меня внимательно: дворец императора — не библиотека, не терраса и не этот дом, там книги не говорят правду, а люди говорят ложь с улыбкой, и каждый улыбающийся считает живых так же, как ты считаешь мёртвых на картах. Там каждый взгляд — оценка, каждое слово — ход, и тот, кто молчит, опаснее говорящего.

Эдуард смотрел не моргая.

— Когда мы приедем, ты будешь вежлив, будешь кланяться и говорить «государь» и «ваше величество», но не станешь говорить того, что думаешь, спрашивать того, что хочешь узнать, или смотреть туда, куда не следует.

— А если спросят?

— Ответишь коротко, ровно и забудешь.

— А если спросят про дядю Олафа?

Ольга помолчала, выпрямляя спину.

— Скажешь «не знаю», и это будет правда, потому что ты знаешь лишь слухи, а слухи — не знание.

Эдуард кивнул, закрыл кодекс и поднялся, оказавшись ростом ей до плеча.

— Матушка, можно я возьму этот кодекс?

— Можно.

Он ушёл босиком, снова забыв сапоги, и дверь закрылась бесшумно, в то время как рабы в коридоре машинально кланялись ему.

* * *

За окном шумело море и кричали чайки, ветер нёс чистую, холодную свежесть гор, а снизу, с пристани, сквозь стены доносились приглушённые крики грузчиков, таскающих тюки, словно эхо из другого мира.

Ольга встала, отряхнула платье, выпрямилась и расправила плечи, сохраняя ровное, мягкое лицо с медовой улыбкой.

Через неделю — столица. Отец с дрожащими руками. Брат, который не тает. И сын, который слышит всё, но молчит.

Она была готова, как была готова всегда. Пальцы сцепились в замок, костяшки побелели, и она медленно разжала их по одному: мизинец, безымянный, средний, указательный, большой.

Глава 4. Виктор.

Пыль лежала везде — на полках, на корешках кодексов, на пальцах Виктора. Серая, въевшаяся, старая. Пыль — на языке, в горле, в носу. Во рту пересохло.

Свеча на столе горела криво, огонёк дрожал от сквозняка из-под двери — холодного, могильного. Коридоры библиотеки школы при Церкви Отца были холодны всегда. Камень стен не держал тепло. Зимой — лёд. Весной — сырость. Летом — могильный холод, как в склепе.

Виктор склонился над кодексом. Пальцы в чернилах, в пыли. Перо высохло — он не макал его давно. Забыл. Читал.

Кодекс был старый. Старше школы. Старше Церкви — или так казалось. Пергамент желтел, крошился по краям. Буквы — угловатые, выведенные рукой, которая не дрогнула ни разу. Не храмовый почерк — храмовые писали ровно, мелко, с молитвой на губах. Этот писатель не молился. Этот записывал.

Виктор перечитал строку в третий раз, губы шевелились беззвучно.

«И стал Храм первым на земле, где Отец коснулся камня перстом. И место сие — меж двух рек, где скала рассечена, и вода уходит вниз, в недра. И поставлен был страж у входа, дабы никто не вошёл, кроме званых. И был страж — не человек. И был страж — не зверь. И пребудет он там, пока камень не раскроется.»

Между двух рек. На Юге. Там, где горы обрываются в море, а реки уходят под землю. Грот.

Виктор отложил перо. Руки дрожали. Он сжал их в кулаки — привычным жестом, который не помогал. В горле першило — тупо, вязко. Он сглотнул, проморгался — огонёк свечи плыл перед глазами.

Он знал это место. Не из книг — из карт. Старых карт, которые хранились в нижнем хранилище, за решёткой. Карт, которые никто не открывал. Кроме него.

Виктор закрыл кодекс — осторожно: пальцы онемели так, что он чуть не уронил книгу. Прижал ладонь к обложке — тёплая кожа, влажная от его пота.

Он не должен был это читать. Этот кодекс лежал на верхней полке, за другими. Он не должен был его доставать. Он достал — вчера, ночью, когда никого не было.

Скрип пера за спиной — Виктор вздрогнул и обернулся.

В дверях стоял брат Антон. Невысокий, сутулый, в серой рясе. Чернильница в руке, перо за ухом. Смотрел на кодекс под рукой Виктора — долго.

— Брат Виктор. Магистр вызывает.

— Сейчас?

— Немедленно.

Виктор встал. Ноги не слушались — колени мягкие, как тряпка. Он спрятал кодекс за другие книги на столе. Неаккуратно. Заметно. Он знал, что Антон видел всё.

Коридор был тёмный. Факелы горели через один — экономия. Камень стен сочился влагой. Капли стекали по швам кладки, собирались в лужицы у порогов. Виктор шёл за Антоном. Шаги гулко отдавались от свода. Шаги Антона — ровные, тихие. Шаги Виктора — неровные, спотыкающиеся.

— Брат Антон, — голос Виктора вышел тихим. — О чём…с чем…к чему вызов?

— Магистр скажет.

— Инквизитор?

Антон не обернулся. Не ответил. Шёл вперёд.

В горле першило снова. Виктор сглотнул. Привкус металла на языке. Пальцы онемели. Он спрятал их в рукава рясы. Холодный пот выступил на лбу.

* * *

Зал собраний находился в восточном крыле. Дубовая дверь — тяжёлая, с железными полосами. Антон толкнул её. Петли скрипнули — долго, протяжно, как крик птицы.

Зал был маленький. Каменный, без окон. Свет давали свечи. Двенадцать, на железных канделябрах. Пахло воском и ладаном. И чем-то ещё — сладковатым, едва уловимым. Запах стоял под потолком, густой, как дым. Неопределённый.

Магистр Тимофей сидел во главе стола. Тучный, в белом облачении с золотым шитьём. Золотое солнце на груди — символ Церкви Отца. Лицо полное, выбритое. Глаза маленькие, цепкие. На пальцах три перстня с камнями. Он ел виноград. Один. Другой. Сок стекал по пальцам. Тимофей вытер липкие пальцы платком, сок винограда въелся в перстни.

По бокам — учителя. Шестеро. В серых рясах, со свитками пергамента. Лица — одинаковые. Непроницаемые. Виктор знал их. Брат Иосиф — догматика. Брат Симеон — риторика. Брат Лука — история. Остальных он не помнил. Память нехотя выдавала имена.

У стены стоял Инквизитор.

Влаер стоял у стены. Чёрная ряса с золотым солнцем на груди. Капюшон откинут. Лицо худое, бледное, как пергамент. Глаза тёмные. Зрачки расширены, как в темноте. Хотя свечи горели ярко. Он не двигался. Руки сложены перед собой — длинные белые пальцы, ни одного лишнего движения.

Виктор остановился в дверях. Ноги вросли в камень.

— Подойди, — сказал Тимофей.

— Садись.

Виктор подошёл. Сел на скамью у стола. Руки спрятал в рукава. Пальцы покалывало. Он сжимал ткань до боли в костяшках, но ощущение не уходило.

— Брат Виктор, — Тимофей взял виноградину. Покатал между пальцами. — Сколько лет ты в школе?

— Пять…пять лет, Магистр.

— Пять лет. Ты — лучший ученик. Брат Иосиф говорит — лучшее знание догматов за десять лет. Брат Симеон говорит — лучшая риторика. Брат Лука говорит…— он помолчал. — Брат Лука говорит, что ты задаёшь вопросы, на которые у него нет ответов.

Виктор не поднял глаз. Смотрел на стол. На виноградины. На капли сока.

— Вопросы — это хорошо, — продолжил Тимофей. — Вопросы — это путь к Отцу. «Спрашивай — и услышишь. Ищи — и найдёшь». Так написано.

— Так написано, — повторил Виктор.

— Но есть вопросы, — Тимофей поднял палец, — которые ведут не к Отцу. А от Него.

Пауза затянулась. Свечи потрескивали, воск капал на железо.

— Брат Антон, — сказал Тимофей. — Расскажи Совету, что ты видел.

Антон шагнул вперёд.

— Брат Виктор в течение трёх месяцев запрашивал в нижнем хранилище карты, не входящие в программу обучения. Карты южных территорий. Древние. Доступ к ним ограничен разрешением Магистра. Разрешения не было.

Виктор закрыл глаза. Желчь поднялась к горлу. Он сглотнул.

— Далее, — продолжил Антон. — Брат Виктор три ночи подряд оставался в библиотеке после отбоя. Вчера ночью он снял с верхней полки кодекс, не числящийся в реестре. Кодекс лежал за другими книгами. Брат Виктор читал его до рассвета.

— Какой кодекс? — спросил Тимофей.

— Про старую веру, — сказал Антон. Виктор вздрогнул. Название прошло через зал — как треск лопнувшей струны.

Тимофей перестал жевать. Положил виноградину. Посмотрел на Виктора. Маленькие глаза сузились.

— Ты знаешь, что в этом кодексе?

— Да, Магистр.

— И ты знаешь, почему он не в реестре?

— Нет, Магистр.

— Потому что его запретил к чтению покойный Магистр Феофан. Двадцать лет назад. За отступление.

Виктор сглотнул. Сердце стучало в ушах, отдаваясь в висках.

— Брат Виктор, — Тимофей откинулся в кресле. — Что ты искал в этих картах и в этом кодексе?

Виктор открыл рот. Слова шли плохо — каждое застревало, как рыбья кость.

— Я…искал…Первый Храм, Магистр. Место, где Отец…коснулся камня.

— Зачем?

— Потому что…— он сглотнул. Поднял глаза. И встретил взгляд Инквизитора.

Влаер смотрел. Не мигая. Тёмные глаза — бездонные, как колодцы. Губы — чуть приоткрыты. *Он улыбался?* Лицо Влаера не выражало ничего. Виктор отвёл взгляд.

Он хочет, чтобы я сказал. Хочет сильно. В висках застучало.

— Потому что написано: «И станет Храм первым на земле, где Отец коснулся камня перстом», — процитировал Виктор. Голос окреп — привычные слова Писания давали опору. — «И место сие — меж двух рек, где скала рассечена». Я…я нашёл описание. И сопоставил с картами. Есть место на Юге. Где реки сливаются и уходят под скалу. Я…я думаю, что это…

— Ты думаешь, — перебил Влаер.

Голос Инквизитора — струна, натянутая до предела. Заполнил зал. Виктор почувствовал, как волосы на затылке встали.

— Ты думаешь, — повторил Влаер. — Ты ищешь. Ты читаешь то, что запрещено. Ты ходишь ночью там, где не должен. И ты говоришь, что ищешь Храм.

— Да, Инквизитор.

— «И не воссядет человек на место Отца, ибо место сие — пусто. И кто скажет: я нашёл его — солгал. И кто скажет: я иду к нему — погиб». — Влаер процитировал. Медленно. — Знаешь ли ты эти слова, брат Виктор?

— Это…это из Второго Послания.

— Из Второго Послания. — Влаер не шелохнулся. — Из полного текста. Того, что хранится здесь. — Ты читал его?

— Нет, брат Инквизитор.

— Нет. Ты не читал. Ты читал другое. Ты читал то, что говорит: Храм существует. Что его можно найти. Что нужно идти.

Виктор молчал. Горло пересохло. Руки не слушались.

— Это отступление? — спросил Влаер. — Или это усердие?

Он повернулся к Тимофею — медленно, без звука.

— Магистр. Брат Виктор нарушил устав. Он читал запрещённое. Он ходил ночью. Он искал то, что Церковь сочла нужным скрыть. — Голос вибрировал.

— Вопрос не в том, что он нарушил, Магистр. Вопрос — зачем он это сделал. Потому что верит. Верит сильнее, чем те, кто поручил ему верить.

Тимофей поднял бровь. Виноградная косточка зажата между пальцев.

— Ты защищаешь его, Инквизитор?

— Я предлагаю, — ответил Влаер. — Брат Виктор нашёл указание на Первый Храм. Если оно верно — это величайшая находка со времён Императора Первого. Если ложно — брат Виктор понесёт наказание. Но как мы узнаем, не проверив?

— Проверить? — Тимофей наклонился вперёд. — Ты предлагаешь послать экспедицию?

— Я предлагаю послать брата Виктора. С провожатым. С охраной. Пусть найдёт это место. Пусть увидит своими глазами.

Виктор поднял голову. Рот приоткрыт. Инквизитор стоял неподвижно. Лицо неподвижное. Глаза тёмные. Ни улыбки, ни угрозы. Ничего.

Тимофей молчал. Учителя молчали. Свечи потрескивали.

— Э-экспедиция стоит денег, — сказал Тимофей. Наконец. — Корабль. Охрана. Провиант. Церковь не казна Императора.

— Церковь не казна, — согласился Влаер. — Но Церковь имеет друга. Банк…

— Банк, — Тимофей поморщился. — Банк даёт в долг. Под процент.

— Банк даёт тому, кто может вернуть, — Влаер повернулся к Тимофею. — Магистр. Если Первый Храм найден — Церковь получает то, чего не имеет уже триста лет. Исток. Корень. Доказательство, что Отец — был. Не в Писании. Не в словах. В камне. В месте, которое можно потрогать рукой. Сколько стоит такая находка?

Тимофей молчал. Пальцы его барабанили по столу — тихо, мерно. Перстни звякали о дерево.

— Брат Виктор, — сказал он наконец. — Ты готов идти?

Виктор сглотнул. Страх отступил. Руки дрожали. Но внутри — глубоко, под рёбрами, под дрожью и страхом — горело. Маленькое, жаркое, упрямое.

— Я готов, Магистр.

— «Готовность сердца — дар Отца», — процитировал Влаер. — Но я пойду с тобой.

Виктор посмотрел на него. Инквизитор стоял. Неподвижный. Тёмные глаза. Белые пальцы, сложенные перед собой. Спокойный до неестественности. Ни одного лишнего движения. Ни одной морщины на лице. Как восковая фигура, которая дышит.

— Ты? — Тимофей поднял бровь.

— Инквизитор должен наблюдать, — ответил Влаер. — Если найденное — отступление, Инквизитор решит. Если найденное — истина, Инквизитор засвидетельствует. Таков устав.

— Таков устав, — повторил Тимофей. Медленно. Он посмотрел на Влаера — долго, цепко. Потом на Виктора. Потом снова на Влаера.

— Да будет так, — сказал он. — Экспедиция отправится до Праздника Лета. Пока город гуляет — вы будете уже на воде. Брат Виктор — руководитель. Инквизитор Влаер — наблюдатель. Я подготовлю письмо Банку. — Он взял виноградину. — Идите.

Виктор встал. Поклонился. Ноги подгибались — он шёл к двери, держась за стену. Влаер шёл за ним — бесшумно. Виктор не слышал его шагов. Только свои — неровные, спотыкающиеся. И скрип петли, когда дверь закрылась.

* * *

Коридор был тёмный и холодный. Капли на стенах. Виктор шёл, не оглядываясь. Знал, что Влаер стоит за дверью. Или идёт за ним. Или не идёт. Он не слышал. Не мог слышать. Инквизитор не издавал звуков.

Свечи горели криво. Воск капал. Пыль лежала везде.

Виктор прижался спиной к стене. Камень был холодный — ледяной, как могильная плита. В висках стучало. Желчь стояла в горле. Он закрыл глаза.

Он найдёт Храм. Найдёт истину. Прикоснётся к истокам. А потом, может быть, поест. Желудок свело — он не ел с полудня.

Глава 5. Герман.

Зал Имперского Совета стоял на вершине дворцового холма. Каменный, узкий, с окнами-щелями, прорезанными в стенах, как бойницы. Стены затянуты багряным шёлком, над дверью раскинул рога золотой зубр с рубиновыми глазами. Длинный дубовый стол, рассчитанный на двенадцать рук, окружали стулья с резными спинками. Стул Германа стоял на возвышении, его подлокотники из морёного клёна стёрлись до блеска. Это был не трон — трон ждал в тронном зале. Это был рабочий стул, на котором Император решал дела Империи тридцать лет.

Герман вошёл, хромая. Левая нога волочилась, колено не сгибалось. Он поднялся на возвышение и сел — боль прострелила от колена до паха, заставив сжать челюсти. Пальцы легли на подлокотник. Дерево было тёплым от его тела, от тридцати лет тепла.

Фляга во внутреннем кармане грела бок.

Двери открылись.

Канцлер Вениамин вошёл первым. Маленький, сухой, в коричневом бархате. Тяжёлая золотая печать Империи висела у него на шее, и он поддерживал её обеими руками — так он делал с тех пор, как три года назад руки начали трястись от страха. Но саму печать он держал крепко.

Верховный Казначей Гай шёл за ним. Худой, жилистый, в сером, с лицом, похожим на счётную доску, и бегающими глазами, которые всегда что-то считали. Он всегда молчал. Говорили, что за семь лет Гай не произнёс на Совете ни слова, предпочитая докладывать Герману наедине только цифры.

Магистр Тимофей вошёл третьим в белом облачении с золотым шитьём и золотым солнцем на груди. Он шёл, переваливаясь и потел, хотя в зале было холодно, а камень не держал тепло. В правой руке он без остановки перебирал толстые янтарные чётки, его поросячьи глазки бегали по сторонам, а пальцы левой руки блестели перстнями. Зубы у него были белые, ровные, удивительно хорошие для его возраста. Входя, он широко и мокро улыбался.

Роги вошёл последним. Изумрудный кафтан поверх чёрного камзола, золотая змея на застёжке кусает собственный хвост — символ Банка. Шёл он мягко, лицо сохранял ровным, а улыбался одним краем рта. Его пальцы крутили большой изумрудный перстень.

Герман обвёл зал взглядом. Все были на местах, кроме одного. Олафа не было.

— Канцлер, — сказал Герман. — Где принц Олаф?

Вениамин вздрогнул, и печать звякнула на цепи.

— Ваше… ваше величество. Принц Олаф… нездоров. Просил…

— Простудился, — сказал Роги. — Просил передать уважение Совету.

Герман долго смотрел на Роги, но банкир не отвёл глаз.

— Простудился, — повторил Герман. — Хорошо. — Он потёр ноющее колено. — Совет в курсе. Приступим.

Александр стоял за спиной Германа в багровой тунике, заложив руки за спину. Герман не видел его лица, но чувствовал присутствие. Как спиной чувствуют холод.

— Я собрал Совет не для праздника и не для докладов, — сказал Герман. — Для решения.

Чётки Тимофея замерли на полсекунды. Вениамин сильнее сжал печать.

— Тридцать лет я сижу на этом стуле. Достаточно, чтобы понять: стул — это не награда. Это ярмо. Бык тянет плуг, Император тянет Империю. — Он помолчал и потёр лоб, стирая холодный пот.

Зал молчал. Сквозь окна-щели доносился дальний гул города, стук колёс и крик чайки — город стоял на реке, и птицы кружили над водой.

— Я передаю право наследия Александру.

Слово легло на стол, как камень. Вениамин побледнел, печать задрожала в его руках. Гай моргнул один раз — единственное его движение за семь лет. Тимофей начал перебирать чётки быстрее, а пот по его лицу покатился крупными каплями. Палец Роги замер на перстне.

— Ваше величество, — заговорил Роги. — Олаф старший. Завет Первородства…

— Завет Первородства, — повторил Герман. — Да. От отца к старшему сыну. Я знаю. Я тридцать лет это знал. — Он наклонился вперёд и стиснул зубы, когда боль прострелила спину. — Где старший сын?

Роги молчал.

— Простудился, — сказал он наконец.

— Простудился, — Герман выплюнул это слово. — Зелье. Хворь. Трясущиеся руки. Мутные глаза. Вот ваша простуда. — Он тяжело ударил кулаком по подлокотнику. Дерево тихо треснуло. Вениамин вздрогнул, печать звякнула. — Олаф не наследник. Олаф — мешок с зельем. Я передаю трон тому, кто его удержит.

Роги осторожно поднял руку ладонью наружу в жесте мира.

— Ваше величество, я не возражаю. Я спрашиваю. Великие Князья дадут людей, зерно, обозы, они поднимут дружины. Но если Завет Первородства нарушен, каждый старший сын в Империи будет просыпаться с мыслью, что его отец может забрать его удел. Каждый отец с двумя сыновьями будет смотреть на младшего и думать. — Роги смотрел на Германа прямо. — Как мы будем собирать войска и налоги, если князья боятся за свои наследства? Кто выйдет на войну за Императора, который ломает закон?

Весло в руках. Брызги. Холодная вода. Хрип. Бульканье.

Он не помнил, почему не отпускала. Помнил только, что не отпускал.

Пятьдесят лет. А вода всё ещё холодная.

Герман моргнул и сжал подлокотник так, что костяшки побелели, а на висках выступил пот. Он моргнул снова и вернулся в зал.

— Закон — это я, — сказал он. — Я Император. Я написал Завет. Я могу его… дополнить. — Он повернулся к Тимофею. — Магистр. Церковь. Что говорит: «Трактат Отца» о праве Императора назвать наследника?

Тимофей вздрогнул, чётки замерли. Он вытер лоб дорогим шёлковым платком с вышитым солнцем. Поросячьи глазки забегали от Германа к Роги, от Роги к Александру и обратно.

— Ваше… ваше величество… — начал Тимофей. — «Трактат Отца» … гласит… в главе… в главе седьмой…

Он сглотнул и икнул. Звук вышел короткий, влажный, непристойный. Эхо ударилось о каменные стены. Запах — кислый, от пота и страха, перебил даже ладан, которым пах канцлер. Вениамин замер с пером. Гай медленно поднял глаза.

Тимофей побагровел и прижал ладонь к животу.

— Простите, ваше величество, — выдавил он. — Пост… слабит.

— Читай дальше, — сказал Герман.

Тимофей быстро и нервно зашевелил чётками.

— «И воссядет сын на место отца, и будет судить, как отец судил. Но если сын… не достоин… воссядет другой. И суд его… будет… тяжек».

— «Если сын не достоин — воссядет другой», — повторил Герман. — Не «старший». Не «первый». «Другой». Так написано, Магистр?

— Так написано, ваше величество.

— И кто определяет, достоин он или нет?

Тимофей провёл мокрым платком по лбу, сменил руку и вытер другой стороной.

— В Трактате сказано: «Отец судит». Отец, то есть Император. Как наместник Отца на земле.

— Как наместник Отца на земле, — повторил Герман. — Я наместник. Я судил. Олаф не достоин. Александр достоин. Церковь поддерживает?

Тимофей молчал, чётки в его руке замерли. Он смотрел на Германа скользким взглядом, переходя от глаз ко рту, от рта к рукам, от рук к столу.

— Церковь… — он сглотнул. — Церковь поддерживает решение наместника Отца. Если…

— Если что?

— Если наместник подтвердит обязательства по землям. Для Церкви. Для служения. На Севере. Земли, освобождённые от налогов. Для монастырей. Для приютов.

— Для приютов, — повторил Герман. — Хорошо. Указ будет подписан после объявления. Канцлер, подготовь.

Вениамин быстро кивнул. Печать звякнула. Он придвинул пергамент и начал записывать пером. Руки дрожали так сильно, что буквы выходили кривыми, но он продолжал писать.

Герман повернулся к Роги.

— Роги. Банк имеет вопрос?

Роги молчал. Палец на перстне замер, лицо оставалось ровным, но улыбка исчезла. Он смотрел на Тимофея — долго, цепко. Потом на Германа. Палец на перстне сжался до белых костяшек. Щёки ввалились.

Купили. Севером.

— Банк не возражает, — сказал Роги. — Банк стоит на стороне стабильности.

— Стабильности, — повторил Герман.

— Но Банк напоминает, — Роги поднял палец. — Казна пуста. Три года войн, два неурожая, пиратские набеги. Долговые записи обращаются, золота нет, и Банк покрывает разницу. — Он смотрел на Германа прямо. — Банк держит Империю на своих плечах.

— Банк держит Империю, — согласился Герман. — И Банк получит свои условия. После. Не сейчас.

Роги медленно кивнул.

Герман повернулся к Вениамину.

— Канцлер. Фиксируй.

Перо скрипело по пергаменту. Руки Вениамина тряслись, но буквы выходили кривыми и читаемыми.

— «Император Герман, властитель Велигорской Империи, наместник Отца на земле, объявляет: право наследия престола передаётся Александру, младшему сыну Императора. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Магистр Церкви Тимофей подтверждает: решение соответствует Трактату Отца, Глава седьмая. Церкви выделяются земли на Севере, освобождённые от налогов, для нужд служения. Указ вступает в силу с момента наложения печати».

Вениамин замолчал, посмотрел на Германа и трясущимися руками поднял тяжёлую золотую печать на цепи.

— Ваше величество… приложить?

Герман посмотрел на печать, на Вениамина, на потного и нервного Тимофея, на бледного Роги с белыми костяшками и на молчащего Гая, который всё ещё считал.

— Приложи.

Вениамин наклонился. На горячий багровый воск села муха. Крупная, синяя.

Вениамин замер. Сдуть муху с императорской печати — кощунство. Придавить — испортить оттиск зубра. Муха тёрла лапки над воском.

— Давай, канцлер, — сказал Герман. — Жми. И муху заодно. Империи нужен белок.

Вениамин зажмурился и опустил печать. Хруст хитина слился с глухим звуком сплющенного воска. Воск сплющился, и багровый круг с оттиском зубра стал знаком Империи.

Герман откинулся на спинку стула. Боль пульсировала в колене, в спине, в висках, пот выступил по всему телу. Он достал из внутреннего кармана флягу, отвинтил пробку и глотнул. Зелье было тёплым и горьким, и боль на какое-то время отступила.

Весло. Брызги. Хрип. Бульканье.

Он моргнул и вернулся в реальность.

— Александр. Подойди.

Александр вышел из-за спины Германа и не торопясь подошёл к возвышению, встав перед стулом прямо и неподвижно.

— Стул твой, — Герман начал подниматься. Боль прострелила тело, он стиснул зубы, потому что ноги не слушались, а колено не сгибалось. — Совет твой. Ярмо твоё.

Александр посмотрел на подлокотники, стёртые руками отца, на выемку, где тридцать лет лежала его ладонь, а потом перевёл взгляд в тёмные глаза Германа.

— Я принимаю, — сказал он. Принял это так, словно принимал не ярмо, а чашу вина.

Герман кивнул, повернулся и пошёл к двери, хромая и волоча ногу. Подошва скребла по камню, спина оставалась прямой, он не оборачивался.

У двери он остановился, но всё равно не обернулся.

— Роги. «Не сейчас» значит «не сейчас». Не подталкивай.

Он вышел. Дверь закрылась, скрипя петлями.

Зал молчал, пока шаркающие и неровные шаги Германа стихали за дверью. Александр стоял у стула, заложив руки за спину. Он медленно смотрел на Совет, переводя взгляд с одного на другого. Тимофей вытирал лоб. Вениамин прятал пергамент. Гай считал. Роги сидел с неподвижным пальцем на перстне и ровным лицом, но его щёки ввалились, кровь отхлынула, а костяшки побелели.

— Магистр Тимофей, — сказал Александр. — Церковь щедра. Я не забуду.

Тимофей быстро кивнул, его чётки тряслись.

— Канцлер Вениамин. Указ на моём столе. Завтра утром.

Вениамин поклонился, печать звякнула.

— Казначей Гай. — Александр посмотрел на Гая, и тот впервые за семь лет поднял глаза. — Я хочу видеть отчёт по казне. Не общий, а полный. По каждой статье.

Гай моргнул и кивнул один раз.

— Роги. — Александр повернулся к нему последним. — Банк держит Империю. Я ценю это. Империя заплатит в своё время и по своим счетам.

Роги смотрел на него прямо, медленно крутя перстень.

— Империя всегда платит. Вопрос лишь в том, когда.

— Когда — решаю я, — ответил Александр.

Роги улыбнулся краем рта, встал и в меру поклонился. Изумрудный кафтан скользнул по камню, и он бесшумно ушёл.

Тимофей торопливо последовал за ним, перебирая чётки и вытирая пот на шее. Вениамин вышел вслед за Тимофеем, прижимая печать к груди. Гай ушёл последним, молча считая.

Александр остался один в пустом зале. Вокруг были только багряный шёлк, золотой зубр и дубовый стол. Стул на возвышении всё ещё хранил тепло тела его отца.

Он сел и положил ладонь в выемку подлокотника. Дерево было тёплым.

Большой палец правой руки скользнул по ткани на колене — раз, коротко. И замер.

Тепло отца. Ярмо отца. Тридцать лет.

А теперь — мои тридцать.

Глава 6. Роги.

Воздух в покоях Елизаветы был тяжёлым. Стоило переступить порог, как будто входил в хранилище. В его счётной палате пахло сухим воздухом, чернилами и пергаментом. Здесь жасмин лез в горло, мускус садился на кожу плёнкой. Каменные стены, обтянутые изумрудным шёлком. Чёрное дерево мебели. Золотая змея на дверной ручке — кусающая хвост. Окна узкие, с южной стороны, закрыты тяжёлыми занавесями. Свет был приглушённым, зеленоватым, как сквозь воду.

Роги задержал дыхание на пороге — привычка, выработанная за двадцать лет. Не помогало. Духи всё равно лезли в горло, мускус садился на язык, на зубы, на нёбо. Кожа покрывалась плёнкой — невидимой, но ощутимой, как будто его обернули в пропитанную ткань. Глаза слезились. Он моргнул — медленно, и вошёл.

Он вошёл; раб за дверью — молодой, смуглый, в чистой льняной тунике — склонил голову и бесшумно исчез. В покоях горели свечи — не церковные, а восковые, ароматические, с горечью.

Елизавета сидела у окна. Спиной к свету. Лицо скрывал полумрак окна. Чёрное платье. Изумрудная брошь на горле — золотая змея. Руки лежали в складках, неподвижные. Губы были нитью.

Она не встала.

— Сядь, — сказала она.

Роги сел. Кресло было низким, с подлокотниками из чёрного дерева. Привычное. Он сидел в нём сотни раз. Раб — другой, постарше, с седой бородой — появился с подносом. Вино в медном кубке. Фрукты на блюде — инжир, гранат, виноград. Тёмный мёд в глиняной чашке. Раб поставил, поклонился, ушёл. Бесшумно, словно его не было.

Двадцать лет чужих денег. Теперь — свои. Разница — в том, что свои нельзя вернуть.

Роги бросил косой взгляд на раба. Елизавета не обратила внимания.

— Герман объявил волю, — сказал Роги. — Александр — наследник. Совет молчал. Никто не сказал ни слова.

— Совета не было, — ответила Елизавета. — Герман отменил саму процедуру. Не было согласия. Не было голоса. Была воля старика — и сталь. — Она чуть повернула голову. Свет упал на скулу. — Банк оказался бессилен.

Роги сжал перстень. Большой, изумрудный. Палец побелел от давления. Он крутил — привычным жестом, машинально. Крутил и сжимал.

— Тимофей молчал, — сказал он. — Тимофей, которому мы платили. Тимофей, который обещал…

— Тимофей — трус, — перебила Елизавета. — Трус и лицемер. Он увидел сталь — и прогнулся. Как все.

Пауза. Свечи потрескивали, воск капал на серебро. Духи стояли под потолком; Роги чувствовал их в горле — густо и тошнотворно.

Она права. Она всегда права. Я женился на ней двадцать лет назад. Думал — ради места в Совете. Оказалось — ради того, чтобы кто-то всегда был прав.

— Олаф, — сказал он. — Олаф — не вариант. Ты видела его. Он не встал с постели. Его не было. Если мы ставим на Олафа — мы ставим на мертвеца.

— Олаф — инструмент, — ответила Елизавета. — Мальчишка, который хочет трон и не может встать с кровати. — Она чуть повернула голову. Свет скользнул по скуле. Острый нос. Тонкие губы. Нить. — Мне не нужен Олаф на троне. Мне нужен Александр — не на троне.

Роги молчал.

Александр — солдат. С солдатом можно договориться. С Елизаветой — нельзя. Она не даст.

— Александр сидит во дворце, — сказал он. — Легионы с ним. В казармах. Максимилиан — с ним. Военная школа. Прямой удар — самоубийство. — Пауза. — Если мы двинемся на Александра открыто — легионы сомнут нас за час.

— Легионы — не препятствие, — перебила Елизавета.

— Тысяча двести мечей. В столице.

— Легионы — не проблема, — повторила Елизавета. — Потому что легионерам нужно платить жалованье. А казна пуста. Александр на троне, но без золота он — бесполезен.

Роги перестал крутить перстень, палец замер. Он посмотрел на Елизавету: лицо в тени — только скула, нос, нить губ.

— Казна пуста, — повторил он. Медленно.

— Казна пуста, — подтвердила Елизавета. — Три года войн. Два неурожая. Пиратские набеги режут торговлю. Ты это знаешь лучше меня.

Елизавета подняла руку, и раб — третий, невидимый до этого — выступил из угла: налил вино, поставил кувшин, растворился так же бесшумно, как появился. Роги вздрогнул лишь когда увидел полный кубок. Привычка. В покоях Елизаветы тишина имела вес.

— Церковь, — сказала Елизавета.

Роги ждал.

— Указ о землях. Герман обещал Тимофею. Но указ не подписан. После того, что произошло, всё застыло — ни вперёд, ни назад. Тимофей не подписал. Не из нежелания — из страха: он не понимал, за кем идти.

— Указ будет.

— Будет. Если Тимофей подпишет. А если нет?

Роги посмотрел на неё: лицо в тени — скула, нить губ.

— Тимофей продался Герману, — сказал он. — За земли. Он подпишет.

— Тимофей продался тому, кто платит больше, — ответила Елизавета. — Герман платит землями. Мы заплатим — другим.

— Чем?

— Тимофей — порочен. Ты знаешь. Весь Совет знает. Но никто не говорит. Потому что Церковь неприкосновенна. Потому что «Отец — свят». — Она произнесла это без иронии. — Но, если пороки Тимофея станут… публичными? Если свидетели придут? Если найдутся записи? Расходы? Девочки?

Роги побледнел. Быстро. Слишком быстро. Кровь отхлынула от лица. Желчь поднялась к горлу — кислая, горячая. Он сглотнул. Пальцы — на перстне — сжались до боли.

Елизавета встала. Медленно. Кресло скрипнуло — тихо, коротко, как треск кости. Она подошла к Роги — не торопясь, ровно, как подходит человек, который знает, что ему не нужно

торопиться. Подошла близко. Слишком близко. Жасмин ударил в горло — густой, тяжёлый, удушающий. Запах облепил лицо, шею, руки — как плёнка, как вторая кожа.

Елизавета наклонилась. Близко. Он видел нить губ, тонкие морщины у рта, тёмные глаза.

— Шантаж, Роги? — спросила она, наклонившись ещё на палец.

Роги не отстранился. Не мог. Спина вжалась в спинку кресла. Пальцы на перстне побелели.

— Не шантаж, — ответила она сама себе. — Переговоры. Уважительные. Дружеские. Роги желает обсудить с Магистром Тимофеем… вопросы. Финансовые вопросы. Банк имеет интересы. Церковь имеет интересы. Почему бы не… сблизиться?

Она отстранилась. Медленно. Вернулась к окну. Села. Спина прямая, руки снова в складках. Нить губ.

— И, если Тимофей не захочет сближаться?

— Тогда Банк напомнит ему о его интересах. О тех, которые он прячет. О тех, которые не вписываются в образ святого мужа.

Роги взял кубок. Отпил. Вино было тёплым, как кровь. Он поставил кубок. Медь звякнула о дерево.

— Записи, — сказал он. — У меня есть записи. Расходы Тимофея за последний год. Бордели на Южной улице. Три дома. Семь девочек. Суммы. Даты. Имена. — Он помолчал. — Но записи — не доказательство. Записи — это пергамент. Пергамент горит.

— Пергамент горит, — согласилась Елизавета. — Но свидетели не горят. Свидетели помнят. Свидетели говорят. А если свидетель — девочка из борделя на Южной улице? Если она придёт в Совет? Если встанет на колени перед Магистром и скажет: «Он был у меня. В ночь перед Праздником. Он заплатил. Вот монета»?

Роги сглотнул. Пальцы замерли.

— Монета, — повторил он. — Монета с гравировкой Отца. Которую Тимофей дал ей сам. Потому что у него не было мелких.

Елизавета чуть шевельнула губами. Едва заметное.

— Умница, Роги. Ты считаешь лучше, чем думаешь.

Роги молчал долго. Свечи горели, воск капал.

— Это опасно, — сказал он. — Тимофей — не дурак. Он поймёт, откуда ветер. Он пойдёт к Александру.

— Не пойдёт, — ответила Елизавета. — Потому что, если его пороки всплывут — он потеряет всё. Не земли. Не золото. Всё. Церковь выкинет его. Александр отвернётся. Он останется один. Со своими девочками. И без зубов.

Роги взял кубок; руки дрожали едва заметно, и Елизавета посмотрела на них.

Он отпил.

— Что мы хотим от Тимофея? — спросил он.

— Одно, — ответила Елизавета. — Сомнение. Тимофей не подпишет признание Александра. Не сразу. Он будет тянуть. День, седмицу, месяц. Будет говорить: «Нужно обсудить с Советом», «Нужно изучить Трактат», «Нужно молиться». — Она помолчала. — Когда Церковь сомневается — князья сомневаются. Когда князья сомневаются — легионы ждут. — Она чуть наклонилась вперёд. — Сомнение — сильнее верности.

Роги кивнул. Медленно.

— Параллельно, — продолжила Елизавета. — Банк замораживает выдачу денег казне. Не отказ. Волокита. Долговые записи — пересмотреть. Кредиты — переоформить. Казначейство получит меньше. На техническое время. Банк не отказывает. Банк задерживает.

— Волокита, — Роги покатал слово.

— Волокита, — кивнула Елизавета. — Безопасное слово. Банк не мятеж. Банк — порядок. Банк — стабильность.

— Стабильность, — повторил Роги. То же слово, что в Совете. Другой вес.

Елизавета подняла руку. Раб — подвинул блюдо с инжиром. Она не взяла. Раб убрал. Бесшумно.

— Что происходит, когда легионы — без жалованья? — спросила Елизавета.

Роги не ответил. Он знал. Он финансист. Он считал. Легионы без золота — не легионы. Легионы без золота — толпа с мечами. Толпа с мечами идёт туда, где есть золото. Золото — в Банке. Банк — в руках Роги.

— Олаф, — сказал Роги. — Если Александр не удержит — Олаф. По крови. По закону.

— Олаф — на крючке, — ответила Елизавета. — Олаф пьёт. Олаф ломается. Олаф сделает всё, что мы скажем. Потому что без нас он — ничто. Меньше, чем ничто.

Роги посмотрел на кубок. Вино стояло неподвижно. В тёмной поверхности дрожал огонёк свечи. Он видел в нём своё лицо — бледное, с впалыми щеками.

— Если мы ставим на Олафа, — сказал он, — мы должны дать ему причину встать. Зелье. Много зелья. Не бутыль — поток. Чтобы он встал. Чтобы он вышел. Чтобы его увидели.

— Зелье — в руках Тимофея, — ответила Елизавета. — Но деньги — в твоих. Ты контролируешь поток. Без золота — цепь рвётся.

— Контролирую. Но цепь — это не поводок. Цепь — это верёвка. Если потянуть слишком сильно — порвётся.

— Не порвётся, — сказала Елизавета. — Потому что мы потянем не цепь. Мы потянем Олафа. А цепь — просто будет висеть. Для красоты.

Роги молчал. Он считал. Риски. Вероятности. Выгоды. Олаф — переменная. Нестабильная. Опасная. Но единственная.

— Александр — узурпатор, — продолжила Елизавета. — Церковь сомневается. Банк блокирует золото. Легионы голодны. Олаф — наследник по закону. Вот лозунг. Мальчишка, который не может встать с кровати, поведёт мятеж под таким кличем — и встанет. Потому что ему дадут встать. Мы дадим.

Роги молчал долго; вино в кубке стояло неподвижно.

— Герман, — сказал он наконец. — Герман — ещё жив.

— Герман умирает, — ответила Елизавета. — Ты видел его. Руки трясутся. Пьёт из фляги. Пот катится. Он не стоит — он держится. — Она помолчала. — Герман умирает. Вопрос — когда.

— Если он узнает…

— Он не узнает. — Елизавета подняла на него глаза. Тёмные. Холодные. — Герман умирает от боли, от зелья, от прошлого — он уже не видит. А мы — не ждём его взгляда. Мы действуем.

Роги распрямил пальцы и посмотрел на них: руки банкира.

— Тимофей, — сказал он. — Я поговорю с Тимофеем. Лично. Без свидетелей. В его покоях. Я принесу… записи. Его расходы в борделях на Южной улице. За последний год, суммы, даты, имена девочек. — Пауза. — Он подпишет не сразу. Но подпишет, что мы хотим от него?

— Голос Церкви — на стороне сомнения, — сказала Елизавета. Едва заметное шевеление губ. — Когда Церковь сомневается — князья сомневаются. Когда князья сомневаются — легионы ждут.

Роги кивнул медленно. Расчёт шёл — быстрый, холодный: риски, вероятности, выгоды. Он считал, как всегда. Двадцать лет цифр, долговых записей, процентов — жизни не входили в расчёт, жизни были не его профиль.

— Я сделаю, — сказал он.

— Сегодня, — ответила Елизавета.

— Завтра. — Роги поднял палец. — Тимофей напуган. После Совета он потеет, он перебирает чётки. Ему нужно остыть, день. Потом я приду с записями, когда он остынет, но не успеет укрепиться.

Елизавета смотрела на него. Долго. Потом кивнула. Движение было едва заметным.

— Завтра, — сказала она.

Роги встал, поднял кубок и допил тёмное, густое вино; поставил — медь звякнула о дерево.

— Елизавета, — он посмотрел на неё. — Если мы ошибёмся…

— Мы не ошибёмся.

— Если ошибёмся. Александр — солдат. Полгода с дикарями — и никто не знает, что это с ним сделало. На что он способен — тоже. — Пауза. — Если он узнает — он не будет торговаться. Он будет резать.

Елизавета не шевельнулась. Губы — нить. Глаза — холодные.

— Тогда мы не дадим ему узнать, — сказала она.

Роги повернулся и пошёл к двери; раб у двери склонил голову и открыл её — бесшумно.

На пороге Роги остановился: духи — жасмин, мускус — тянулись за ним шёлковой нитью, тяжёлой, густой, неотступной.

— Олаф знает? — спросил он, не оборачиваясь.

— Олаф не знает. Олафу не нужно знать. Олаф — инструмент. Инструменты не знают, что их держат.

Роги вышел, и дверь закрылась.

Коридор был каменный, тёмный; факелы горели через один, эхо повторяло его шаги — ровные, осторожные.

Он крутил пальцами без остановки.

Запах шёл за ним. Жасмин. Мускус. Не из покоев — из кожи. Из волос. Из складок кафтана. Елизавета лила их щедро, и они въедались намертво. Роги будет пахнуть ею до утра. До следующего утра. Может быть, дольше.

Он остановился у окна. Узкое, с южной стороны. Стекло холодное. Он прижался лбом — на одно дыхание, на два, на три. Стекло было холодным. Настоящим. Не пропитанным духами.

Потом отстранился. Поправил кафтан. Пошёл дальше. Шаги — ровные, осторожные. Эхо повторяло их — дважды, трижды, пока не растворилось в конце коридора.

Александр — солдат. Солдаты понимают счёт.

Елизавета не даст. Но я — банкир.

Тимофей. Завтра.

Глава 7. Ольга.

Порт встретил их запахом. На Западе соль была чистой, резкой, здесь же воздух густел гнилью и водорослями, выброшенными на камни и лежавшими на солнце. Пахло сырой рыбой, рассыпанной по пристани, дёгтем, потом — людьми. Людьми пахло сильнее всего.

Ольга стояла на палубе, пока струг подходил к причалу. Руки на поручне, пальцы не сцеплены — она следила за этим. Каждый жест был сообщением, и каждое сообщение кому-то предназначалось.

Эдуард стоял рядом. Сундук с книгами у его ног. Он держал кодекс — тот самый, про Северные походы. Тёмные глаза бегали по пристаням, по тюкам, по мачтам, по лицам. Пальцы не в чернилах — Ольга проверила.

— Матушка, — сказал он. — Там четыре военных струга. Багровые паруса. Но охраны на пристани нет. Только торговцы. Если бы ждали родню — стояла бы стража.

— Нас не встречают, — ответила Ольга. — Мы вдова банкира с сыном.

Эдуард кивнул, закрыл кодекс и спрятал в сундук.

Причал: доски скрипели. Рабы — двое, в гербовых цветах дома покойного мужа — приняли багаж. Ольга сошла первой. Эдуард за ней. Плащ его был чистый, синий. Туника белая. Волосы причёсаны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.